

Растения

На подоконнике и поверх декабрьского дня
в позах Павловой и Петипа сияют растения,
живущие сами себе, а не для меня,
и способные хоть кого довести до растреления.
И ты вот — одна из них, хоть иных кровей:
кровать не застелена, вянют недельные розы,
опадая куда попало — левой, правой,
неопратно старея, но не меняя позы.
А те все делают знаки, вьются, молчат;
их минорный балет на фоне грузного снега;
или летом, внутри пылевого луча, —
у них, поглядеть, демисезонная нега.
И ты их все ластишь, аж расцвело окно,
ни локтя поставить, ни выглянуть, чтобы белело
в сумерках тихих лицо, потому что оно,
как и лепесток от розы, сбежало от тела.

У антиквара

В ливень по набриолиненной мостовой
пробегают нервные тики неона, линза витрины
туманится, вся в слезах ни с сего, ни с того;
за линзой декор оттенков жемчуга и осетрины.
Антиквариат. Цветы граммофонных труб —
лилии и табаки, их соседством убитая прялка —
что колесо от телеги; и клавиатура труп
с перламутровой челюстью; фляга-палка —
для любителей выпить в Альпах; мелочь иных
вещиц, подобно четкам, увлекающим пальцы,
уводит вглубь магазина, к биг-бенам стенных,
с ангелами-англичанами... Чтоб так состариться, —
надобно было опратно и скромно жить,
как тот, например, барометр, не врущий поныне:
сказано — "дождь", и последний, как Вечный Жид,
носится переулком, точно демон в пустыне.

Вещи глядят вовне и по сторонам,
словно в гостинице, — не признавая друг друга,
вежливые, дорогие, чужие нам,
и это у них еще сильнее от испуга —
сдвинутся с места, выпасть из ряда вон:
насиженные места, належанные футляры,
пылькая пыль на люстрах, бирюлек звон;
и продавщица с фарфоровой и школярной,
как у статуэток фривольных, улыбкой; она,
вытягивая зрачки из компьютерного болота,
смотрит на вас, неприятно удивлена,
будь вы хоть Карл Великий, хоть рыцарей рота.
В мониторе поют клиентура и цены дня,
выделены женихи и Умберто Эко...
Не гляди двадцать первым веком, дружок, на меня,
ибо сам я — наскальная тень, преддверие человека.
Я такая даль заевклидова, что меня
не возьмут ни твои астролябии, ни радары...
Посмотрела сквозь, как в окно, никого не маня
заглянуть в этот рай, ни за деньги, ни даром.

Пение

В январские ясные дни архитектура поет
сразу на всех доступных металлу и камню
наречьях, по крюкам орнаментовки, либо без нот,
по камертону арок и черепицы; слегка мне

доносит хор, голоса; деревья мычат, безволосы,
разглаживая кору на античном ветру,
взмахивающем в колоннаде; и проклятые вопросы
кошачьих хвостов — как скопище загнутых руб.

В ветренные такие дни, когда светотень лежит
на панелях газовой тканью, сидит на парапетах,
колени сведя, как девушка, пряча во лжи
перспективы свое существо, — когда все это

прянет в лицо вам с настырностью ветра и света, —
пение прекращается; и, что-то себе говоря,
удаляется автор стихов; лишь слепок лета
с карнизом обвалится, вечером, на сквозняке января.

Ваза

Поутру туманясь, заигрывая с закатом,
в полдень зевая, но сумрак предпочитая,
ваза не смотрит вокруг, собою объята,
с цветами и без, порожняя иль налитая.
Те ли, не те ли тени, либо погода —
все это более или менее задник,
драпировка изгнания, авзонова ода
себе, автономия немоты надсадной.
Если ее разбить, растолочь осколки
и пыль эту высыпать в женское "о" ведра, —
станет предметом меньше, зиянье — и только,
заполненное хрустальным словом "Баккара".

Полет

Е. Ж.

Отбившись от стаи, над Балтикой, наискосок и
ложась на крыло, летит серый гусь,
овины и риги под ним — с высоты — что киоски,
где продается газета с названием "Не вернусь".
Птице вольготно в небе, и он — вожак,
чья стая растаяла, серебря крылом
сумерки; это все-таки гусь, а не кожан,
и еще неизвестно, какой повезло
твари менее, летящей по ветру:
небесная миля — не ровня тому километру
сухопутных сусликов, стынущих ночь напролет...
Отбившись от стаи, он продолжает полет;
вдали дымит Финляндия, тяжелый рок,
пряники домиков, сырные диски, бани; серый нырок
окликнул...

У птиц свое одиночество, как у собак,
а наше им незачем, как восклицательный знак,
иные там междометья в гортани спира...
Человек, как никто, способен забыть номера
собственных автомобилей, телефонов; и он
особенно, и как никто, обречен.
Птица устала листать стемневший простор,
Господень мир замедляет, свистают бореи;
гусь садится на воду и крылья простер,
люди глядят вослед, крестясь и добрея.

* * *

Дервиши у наливаек, с мутными от снегопада
взорами, глиняной кожей висков и пергаментом
слабых кистей, — этим все время надо:
и когда подтаивает, и когда метет.

Это — гетто иного опыта, если проще —
Дао города, всепогодность как декабризм;
они — это вздох об исходе, корявый росчерк
записки, втиснутой в двери; и оптимизм

этих субъектов пространства вогнать способен
в трепет не только фасады в лужицах, но
и само мироустройство; пьянственные особы, —
они, как иммортели, чье волокно

обречено под любыми ветрами, в любое
время года поддерживать соков ток,
благодаря возгонке лимфы... Со странной любовью
глядят они в свою вечность, на свой Восток.

